
Нина Сосна

Призраки переходного периода

Сегодня, в эпоху развернувшегося господства медиа, в ситуации по меньшей мере настороженного к ним отношения (не отношения даже, а подозрения, а порой агрессии и неприязни), страха (достаточно вспомнить «объект» Д.А. Пригова на выставке «Верю» – закрытый черной материей огромный предмет сельскохозяйственной техники) перед производимыми ими виртуализациями, симуляциями и просто обманами документ представляется одним из последних оплотов действительности, того, что действительно есть (или было).

Едва ли будет преувеличением утверждать, что эти надежды, представления и вера в аутентичную репрезентацию информации связаны с определенной идеологией документа, выдвигающей набор неких характеристик, обуславливающих его непреложность. Операция выделения этих типических черт имеет вполне научный характер, идет ли речь о юридических, исторических или других документах: процедуры установления обстоятельств происхождения, исторических фактов и т.п. производятся в соответствии с правилами «строгой науки». Установление неких «документальных истин» в этом отношении есть не столько разыскание чего-то действительно бывшего, сколько закрепление той или

иной находки в качестве случившегося; поэтому документ есть слагаемое некоего канона, чтобы не сказать догмы, к которой документ считается близким еще и этимологически. В этой перспективе кажется понятным интерес к документу и его роли в конструировании социальной реальности со стороны аналитической философии¹, стремившейся обнаружить некие непреложные, базисные, далее неделимые и неизменные структурные элементы, языка прежде всего. (Как тут не вспомнить протокольные предложения?) Понятна и вписывающаяся в эту же перспективу идея о преимущественно семантической (дискурсивной) составляющей документа, о документе как записи (некоего свидетельства, информации) с использованием техник фиксации и распространения – от письма и печатного станка до литографии, печатной машинки и копировального аппарата.

Идеология документа может «позволить себе» вписывание других видов документов – так называемых аудиовизуальных – в уже размеченное поле, когда за визуальным, как, например, за фотографией, фактически не признается не то что специфичность, требующая, возможно, выработки другого, особого языка описания, но даже новизна: так, она оказывается вписанной в номенклатуру документов *наряду* с другими благодаря объективному способу фиксирования изображения на определенном носителе². Фотография настолько широко используется в науке, что процесс

¹ См.: Searle J.R. The Construction of Social Reality. New York: Simon and Schuster, 2003 (1997).

² См.: Устинов В.А. Новый стандарт по терминологии в области аудиовизуальных документов. Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) / http://rgantd.ru/n_tr.php

С 1 июля 1996 г. введен в действие стандарт России ГОСТ 7.69-95 «СИБИД. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения».

Проблема архивистов здесь в чем-то сродни проблемам нынешних специалистов по музейному делу, вынужденных «сохранять» экспонаты, созданные программными ресурсами, условия поддержания которых меняются настолько быстро, что «воспроизведение» экспоната в условиях музейного пространства делается затруднительным. Ср.: Tribe M. Archiving net.art / <http://www.afsnitp.dk/onoff/Texts/tribearchivingne.html>

обработки изображения, лежащий в основе копирования документов, научно называется «электрофотография»³.

Важно подчеркнуть, с другой стороны, постоянное воспроизводство связи «научности» фотографии с некоторой магией ее воздействия (можно назвать здесь теоретиков – Ю. Дамиша, В.Флюссера). Обращая внимание на некий магический характер пленочных в своей (прото)основе изображений и особый вид веры, с ними связанный, Ж. Деррида в интервью журналу «Cahiers du cinéma» заметил⁴, что изображения эти не имеют юридической силы в суде в сравнении с рассказом лиц, приглашенных в качестве свидетелей. Есть исследования⁵, предлагающие своего рода комментарий к этому высказыванию, по крайней мере из практики американской судебной системы, как известно, состоящей из экспертов и «непрофессионалов» – присяжных заседателей. В отношении фотографии как возможной формы свидетельства в течение нескольких десятилетий разрабатывалась «иллюстративная доктрина», согласно которой фотография требовала медиации эксперта в вопросах, касающихся исправности техники и т.п., то есть эксперт должен был предоставить некий рассказ *за* фотографией (или за фотографией), так как собственно изображение не могло свидетельствовать само по себе. Эта доктрина была сформулирована, как нетрудно догадаться, экспертами, тогда как члены суда присяжных всегда находили фотографические свидетельства достаточными и готовы были на них положиться (интуитивно фотографическое работает). В 1960–70-е годы происходит сдвиг. В общественных местах появились камеры наблю-

³ Электрофотография – одна из трех основных технологий цифровой печати, при которой сухой или жидкий тонер наносится на *устройство промежуточного переноса изображения* или материал для печати путем изменения его электростатических свойств и затем фиксируется посредством абсорбции, химической реакции или температуры (используется в цифровых печатных машинах «Xerox», «Indigo» и «Xeikon»). См.: КомпьюАрт, 2001, № 2.

⁴ См.: Jacques Derrida et les fantomes du cinéma // Cahiers du cinéma, 2001, № 556, pp. 74–85.

⁵ См.: Golan T. Laws of Man and Laws of Nature: The History of Scientific Expert Testimony in England and America. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2004.

дения, их материал уже не требовал объяснений экспертов: за машинами было признано право рассказывать истории. Была сформулирована «доктрина молчаливого свидетельства». То есть технология продолжает менять правила игры в суде. Сейчас в судебных заседаниях возможно использование трехмерных симуляций, анимации и других способов моделировать произошедшее, чтобы «показать» «правду», убедить в ней. А доктрины, которая описывала бы условия взаимодействия с так называемыми «новыми медиа», пока нет.

Спрашивается, каков же мир, в котором мы живем сегодня, который должны описывать доктрины? Это мир «воображаемых наций» (Б. Андерсон), «воображаемых географий» (Э. Саид). Дело не просто в том, что некогда пассивный документ теряет статичную форму и приходит в движение (виртуализируется) благодаря возможности внесения комментариев пользователями и обсуждению в блогах, представлению одного документа (действительно ли одного?) в разных форматах и т.д.; и даже не в проблематизации (пусть снова главным образом со стороны текста) гипертекстом и Web'ом собственно границ термина «документ»⁶. Вопрос в том, когда начался этот процесс и что, если угодно, его подготовило.

Представляется важным обратить внимание на один неконтролируемый момент, который бывал регулярно вытесняем намеченной выше идеологией документа. Как бы мы его ни назвали – переходом, трансфером, переносом, передачей, мы должны иметь в виду тот, если угодно, разрыв – некоторое смещение, замыкание, – который дает о себе знать *между* событием (его наблюдением или переживанием) и его записью, между «чтением» этой записи и представлением о произошедшем. И здесь открывается бездна, глубины которой современная медийная ситуация по меньшей мере сделала более видимыми.

В посвященном Р. Барту эссе Ж. Деррида высказывает сомнение, что понятие трансфера (в интересующем нас аспекте) вообще существовало: как оно могло бы быть сформулировано вне ра-

⁶ См.: *Sweet J. Document Boundaries. Master's Thesis. Rochester Institute of Technology, 2003.*

мок психоанализа, в смысле преодоления лакун, осуществляемого некой способностью, подобной воображению – когда что-то мне адресовано?

А то, что мы воображаем, то, что, как нам кажется, мы видим, и то, что мы проецируем на воображаемый экран (или даже без экрана) «туда, где не на что смотреть», – это призрак.

Призрак может (или должен) быть введен скорее как термин, чем как некая метафора или обозначение обмана зрения, для того чтобы указать на логику, действующую в пространстве *между*, не принадлежащем ни сущности, ни явлению, ни реальности, ни чистому вымыслу, – как нечто, что движется между ними. Смещая фокус внимания от полюсов или границ, призрак заставляет рассматривать собственно отношения. Поэтому он может быть представлен фигурой осмысления медиального. Призрак соотносится с тем, что делает возможным обращение и восприятие.

Конечно, призраки существовали, точнее являлись, и раньше: для Августина и Лютера упоминание о них как средстве, могущем служить благим целям, не было чем-то необычным; для скептиков вроде Свифта и Канта они были дурным свидетельством – непередаваемого другим (а потому незначимого) опыта или непростительного смешения феноменального и ноуменального⁷. Важно, однако, что, несмотря на свою призрачность, они как будто никем не отрицались (хотя вытеснялись, преследовались, нормализовывались), но всегда существовали или, чтобы быть более точными, снова возвращались, являя собой некую дополнительную мыслительную возможность.

Здесь возможно выстраивание генеalogий (призраков): от Г. Клейста до Г. Джеймса, Р.М. Рильке и Т. Манна⁸ или от У. Шекспира до маркиза де Сада, С. Малларме, Дж. Джойса, С. Беккета⁹.

⁷ См.: *Gezeiten: Erscheinungen, Medien, Theorien* / Hg. M. Baßler, B. Gruber und M. Wagner-Egelhaaf. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2005.

⁸ См.: *Stadler U. Gespenst und Gespenster-Diskurs im 18. Jahrhundert.* – In: *Gezeiten: Erscheinungen, Medien, Theorien*, S. 133.

⁹ См.: *Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый интернационал* / Пер. с фр. Б. Скуратова / Под общ. ред. Д. Новикова. М.: «Logos-altera», «Ecce homo», 2006.

И та и другая могли бы быть примерами дискурсивного анализа, сосредоточенного на измерении литературного текста как преимущественного места явления призраков. Нам же хотелось бы подчеркнуть, что самое значимое и известное исследование последнего десятилетия, посвященное теме призрачного – книга Деррида «Призраки Маркса», – открывает возможность связать призрачное с проблематикой визуального.

Позволим себе несколько предварительных замечаний. Призраки и призракология для Деррида являются способом обозначить современную ситуацию окружающей и на многое влияющей среды медиа – информации, прессы, телекоммуникации, техно-теле-дискурсивности, техно-теле-иконичности, то есть того, что определяет опространствление публичного пространства, и эта среда «не является ни живой, ни мертвой, ни присутствует, ни отсутствует, а постоянно порождает призрачность (*il spectralise*). Она не принадлежит ни онтологии, ни размышлению о бытии сущего или о сущности жизни и смерти»¹⁰. Хотя Деррида и выделяет (расплывчато, как он пишет) три модуса, организующих сегодняшние публичные проявления, три культуры – политическую в узком смысле слова, академическую и масс-медийную, характеризруемую через ««коммуникации» и интерпретации, выборочное и иерархизированное распространение “информации” по каналам, мощь которых возросла абсолютно небывалым образом»¹¹, привнеся новые способы присвоения, скорости и ритма, создающие события, когда «высказывания, в том числе политических философов, транслируются через академические, коммерческие издания, но также и через медиа в целом»¹², – он как будто готов согласиться, что все они складываются в одно магистральное направление, стремясь к обеспечению гегемонии.

¹⁰ Там же, с. 78–79.

¹¹ Там же, с. 81; заметим здесь это написание терминов «коммуникация», «информация» в кавычках – действительно, далеко не очевидно, что они проясняют в контексте медиального.

¹² Там же, с. 82

Установлению этой гегемонии следует сопротивляться (это наказ, в данном случае самого Деррида). И труды Маркса, прочитанные сегодня, дополненные, если угодно, могли бы в этом помочь. Ибо их забвение, точнее, рассмотрение их самих по себе академическими филологическими и историко-философскими методами как в определенном отношении нормализованных, лишенных своей перформативности, своих призывов и бунтов, своего молчания и своей неистовости, своей недосказанности – это еще одна характеристика современности, которая выделяется в тексте Деррида. Забыть эту множественность (речей Маркса в данном случае) – значит забыть о призраках, что неизбежно вызовет их возвращение.

Говоря о забвении и возвращении, мы неизбежно приближаемся к зоне проблематики, связанной со временем и событийностью. Действительно, как можно говорить о современности, как можно говорить о настоящем, не прибегая так или иначе к рассуждениям о времени? Так делает и Деррида, в который раз обращаясь к «медитативному письму» Хайдеггера¹³, чтобы критически развить его «настоящее в его преходящем пребывании»: настоящее, имеющее отношение к текущему моменту, к эпохе, настоящее в связи промежутка времени и пребывания. Для Деррида оказывается важным «переход»¹⁴, а значит, нечто по определению преходящее, чья преходящность приходит, так сказать, из будущего. Оно возникает из того, что еще не произошло. Движение настоящего времени происходит из будущего к прошлому, к тому, что уже исчезло. Тогда проблематичными становятся «места соединений» (их интерпретация и вызывает критику со стороны Деррида), так как настоящее оказывается разъятым. Если речь идет о настоящем как о том, что проходит, что пребывает в этом переходе, в возвратном движении прихода-ухода, между тем, что приходит, и тем, что уходит, *в сочленении присутствия и отсутствия*, то затем, чтобы указать на необходимость соединения разъятого, на гармонизацию. Эта-то «благодать согласия» как раз и не устраи-

¹³ Речь идет об «Изречении Анаксимандра» (1946).

¹⁴ Деррида Ж. Указ. соч., с. 41.

вает Деррида, так как «предоставление другому того согласия с самим собой, которое принадлежит ему по праву и дарует ему присутствие», вписывает движение (отношение к другому, открытость ему) в бытие как присутствие, связывающее само себя, в присутствие как свойство другого. Для Деррида же важно удержаться на грани разлаженности – на воздаянии, которое не исчерпывается действием, на ответе, не сводящемся к оплате. В этой разлаженности, в этом зазоре остаются шансы на будущее, на обетование, на зов.

Из этого зазора, из несовпадения настоящего с самим собой Деррида и предлагает мыслить призрачное. Причем призрачное тогда вовсе не обязательно связывается с тем, что принадлежит прошлому и настойчиво из него является. В обращении к Марксу нет никакой ностальгии, потому что его наследие необходимо развивать сегодня; не прост вопрос и о работе траура, которая не позволяет избавиться от новых появлений фантома, а может лишь отодвинуть травматический эффект, не снимая его, оплакивать призраки, идеи, в которых наше тело уже отчуждено, утрачено. По меньшей мере Деррида настаивает на некоторой неразличимости, на равных возможностях прошлого и будущего: «Характерной чертой призрака является то, что мы не знаем, свидетельствует ли он о жизни в прошлом или будущем». Хотя его аргументация по поводу «грядущей демократии», «мессианства без мессианизма», изобилующая «обещаниями», «верой», «упованием», «ожиданием», скорее все-таки ориентирована к будущему. Ведь и Маркс возвещал некое грядущее: то, что пока «бродит по Европе» в качестве всего лишь призрака, в будущем должно стать наличной живой реальностью.

Если вспомнить другие, более ранние тексты Деррида, например посвященное Барту и его последней книге о фотографии эссе «*Les morts de Roland Barthes*», уже там можно обнаружить трудноназываемое, реверсивное движение, призванное обозначить две сходящиеся и расходящиеся черты, которые появляются и исчезают: «...он [призрачный референт фотографии. – Н.С.] не относится ни к настоящему присутствию, ни к реальному, но просто к другому, и каждый раз иначе, в зависимости от типа “образа”... не

жизнь и не смерть, что-то, что, как он говорит, передо мной, то, что адресовано мне»¹⁵. Деррида говорит о графике (отступов бытия), об очерке (притягивающем различное, но и подчеркивающим неустрашимое различие) и прочерке. О чем-то, в чем есть ритм и есть частота (появление и исчезновение; и то и другое).

Так реверсивное движение трансформируется в некое мельтешение перед глазами: вещь эта остается «невидимой между ее появлениями»¹⁶, что почти упускается первым взглядом: «...призрак есть частота некой видимости. Но видимости невидимого»¹⁷. Станным образом эта невидимая видимость настолько, может быть, интенсивна или плотна, что связывается с некими характеристиками телесного (теперь речь как будто идет не просто о схематичном очерке): «Чтобы возник призрак, необходимо возвращение к телу, но к телу более абстрактному, чем когда бы то ни было прежде. Итак, призракогенез соответствует некому парадоксальному воплощению. Как только идея или мысль (*Gedanke*) отделяется от их основы, тотчас возникает призрак, наделяя их телом. Но он не возвращается в живое тело, из которого извлечены идеи или мысли, а воплощает их в другом, искусственном теле... (это тело не является ни чувственно воспринимаемым, ни невидимым, но оказывается плотью тела, утратившего природные свойства, а-физического, которое можно было бы назвать – если все еще можно полагаться на эти древние оппозиции – телом техническим, или институциональным... как говорят, находясь под надежной защитой искусственного создания: идеологического шлема или бронированного фетиша)»¹⁸. Это отнюдь не метафорическое, а почти физическое связывание призрачного и технического позволяет Деррида утверждать «неумолимую виртуальность» *этого* пространства и *этого* времени¹⁹, что представляется

¹⁵ См.: *Derrida J. Psyché. Invention de l'autre*. P.: Galilée, 1987.

¹⁶ *Деррида Ж.* Указ. соч., с. 19.

¹⁷ Там же, с. 212.

¹⁸ Там же, с. 184–185.

¹⁹ Там же, с. 229.

шагом более радикальным, чем оперирование разделением на виртуальные миры компьютерных игр (которыми увлекается – в процентном отношении к общему населению планеты – не так уж много людей, чтобы видеть в этом проблему или знак нового времени) и повседневную жизнь, следы которой как будто подлежат документальной фиксации.

Кроме того, это позволяет Деррида осуществлять поиск категорий посредством которых могут описываться современность и ее новизна: «призрачность», кажется, можно логически сопоставить с «образом» и «иконичностью», с «симуляциями» – понятиями, которые, может быть, в чем-то более адекватны, чем «информация» и даже «коммуникация». Здесь можно обнаружить и место для производного от документа: чем более вторгается новое, чем более разъединяется эпоха, тем более возникает необходимость обратиться к тому, что было. Значит, возникает вопрос доверия или веры, без которых невозможно представить существование ни одного документа и которые переводят документ, скорее, в модус перформативности как некой трансформирующей интерпретации, не подчиняющейся предшествующим условиям, которые анализируют теоретики

р е ч е в ы х
актов.